

Лидия
ЧАРСКАЯ

*Повести
и рассказы*



Лидия Алексеевна Чарская

Прощение

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=636975

Лидия Чарская. Повести и рассказы:

Аннотация

Я поцелую тебя и лягу... и придет смерть... от отравы, ножа или удушья, не все ли равно?

Но лишь бы смерть... смерть...

Содержание

I	4
II	8
III	12
IV	16
V	20

Лидия Алексеевна Чарская

Прощение

I

Минута... еще минута... еще... потом часы... потом дни... недели и годы...

Годы, годы, годы...

И все без него...

Почему без него? Как без него? За что ты взяла его от меня, безжалостная смерть?...

Или ты думаешь, что разлучила нас, схватив его в свои холодные объятия...

Почему смеется солнце, почему синеет умиленное венецианское небо, почему шепчутся и сквозят голубые прозрачные каналы, чему радуется праздная и веселая венецианская жизнь?

Ведь его нет! Он умер. Они верно еще не знают этого. Он лежит тихо, тихо, как уснувший.

А Розоритта – свеженькая и смуглая дочь нашей хозяйки, с чувственным ротиком и глуповато-томными глазами – сыплет целый дождь цветов на тело моего дорогого... – Тепло...

Так, значить, он умер, на самом деле умер!

Прости, солнце, и небо, розы и мирты, и вы все, прости-те... Я не увижу завтра алеющего зарею неба, не увижу бирюзовой дали, ни вечного солнца!

Ни я, ни он – мы вас больше не увидим.

Я и он – мы одно целое...

Я и он, мы жили одним взглядом, одним дыханием, одним чувством...

Наши сердца бились в одном согласном аккорде. И оба порвутся разом. Он лежит передо мною, как живой, под душистым покровом пышных цветов...

Ветерок, набежавший с моря, целует его лицо, которое я до сих пор так страстно и жадно целовала.

Оно мало изменилось, несмотря на болезнь...

Две три новые тени. Глубоко запавшие глаза и рот, улыбающийся новой величавой улыбкой.

Его усы и кудри я тщательно разгладила моими дрожащими пальцами, обливая их отчаянными слезами...

Теперь слезы иссякли...

К чему они, когда через день, самое большое, мы соединимся, чтобы никогда не разлучаться...

Желанный!.. Милый!..

Чувствуешь ты, как я смотрю на тебя, слышишь мою клятву соединиться с тобою?

Да, да, клянусь моей любовью, моей верой в существование загробного бытия!

Под окном мандолина... К ней присоединяется голос, пе-

вучий и страстный, призывающий к неге, и страсти, тихо рокочущий, – настоящей голос прекрасной Италии.

Розоритта в испуге бросается к окну.

– Нельзя, нельзя... здесь покойник.

– Ничего, дорогая, пусть поет. Он любил музыку. Она не может оскорбить покойного.

И снова песнь, призывающая к жизни и счастью, льется в открытое окно.

А Виталий лежит неподвижно... Ему не надо теперь ни песен, ни ласк, ни улыбок роскошной природы.

Он лежит, все лежит неподвижно...

Но я чувствую – еще секунда... еще минута и глаза его откроются, он улыбнется, протянет руку и скажет: «Люблю».

Да, да, именно люблю, и ничто другое... Когда он просыпался по утрам, он окружал мою голову своими руками и говорил это «люблю» с особенной лаской. Люблю, люблю, люблю...

Его, дрожа, повторяет мое сердце...

Какою небесною музыкой звучало мне это слово моего мужа, моего любовника, первого и единственного.

Еще и еще розы...

– Откуда, Розоритта?

– Их прислали друзья синьора... они тут и спрашивают когда панихида.

Панихида... да... скажи им, дорогая, вечером в 8, а завтра

утром мы хороним синьора.

– Да, синьорина, – и она уходит, неслышно ступая, точно боясь разбудить уснувшего.

Милая девушка!

И снова мы одни с тобою! Я кладу руку на твое сердце... Оно не бьется и холодно, как мрамор. И губы твои холодны, и руки... о, милый!

Но это ничего.

Завтра я соединюсь с тобою и вместо одного чужестранца похоронят двоих...

Как я сделаю это, не знаю... Но ведь ты веришь, что жена твоя не будет колебаться... Мне ли бояться мучений? Хуже тех, что я перенесла, вырывая тебя из когтей смерти, быть не может.

Я не знаю еще чем убью себя, но моя рука достаточно тверда для этого.

Я поцелую тебя и лягу... и придет смерть... от отравы, ножа или удушья, не все ли равно?

Но лишь бы смерть... смерть...

II

Как это началось?... Ах, да, помню...

Помню сад и обрыв и Волгу... Кустарники бузины и орешника... Помню скамейку и громадную сосну над нею.

Помню тот эскиз, который нас сблизил... И тебя...

Ты сидел на скамейки, держал палитру, кисти.

Как красиво и характерно было твое молодое лицо! Печать вдохновенья лежала на высоком белом лбу.

Ты взглянул на меня затуманенными глазами.

Глаза смотрели, а мысль витала далеко.

На мольберте я увидела, как в зеркале, отражение обрыва и Волги и золотого солнца, заходящего за реку. И вскрикнула от восторга.

Ты поднял глаза... Экстаз вдохновенья исчез.

Ты почувствовал близость постороннего существа.

– Как вы находите? – спросил ты. Твой вопрос звучал ласковой, а взгляд любовался мною.

Потом попросил позволения поместить и меня на полотне.

– Для полноты картины, – пояснил ты с улыбкой.

И я согласилась.

Если бы тогда ты попросил у меня отдать мою жизнь – я бы согласилась и на это.

Я уже любила...

Встречи у обрыва, встречи в чаще заброшенного сада – на реке и в целом лесу золотых колосьев, кто вас не знает? Кто не был молод?

Виталий принадлежал к числу тех избранных, которые снабжены тем драгоценным даром чуткости и понимания самых хитрых извилин души, на которую способны только талантливый натуры.

Он взял мою душу таким нежным прикосновением, что я его даже не почувствовала.

Он берег мое сердце, как скупец бережет хрустальный сосуд с драгоценным миром. И не пролил ни единой капли...

Мы любили беззаветно, светло и чисто с тою наивною уверенностью в постоянное счастье, которая доступна только молодым и чистым.

И счастье нам улыбалось...

Оно было до того громадно и прекрасно, что заполонило и подхватило и понесло нас далеко, далеко за пределы реального, в мир фантазии и света, в мир искусства, поэзии и любви бесконечно светлой, как день, и торжествующей, как молодость...

Виталий работал над новыми сюжетами и я, как могла, помогала ему. Мои золотые волосы и синие глаза при тонком и нежном профиле давали мне возможность позировать мужу...

Я являлась перед ним то Венерой, то Цирцеей, то Фриной, бесстрашно явившейся на суд.

Потом мы поехали в Италию.

Виталий бредил Венецией и Римом...

Он бросался в Ватикан, писал картину за картиной, живя идеями и надеждами, между взмахами кистей и моими поцелуями, трудящийся и верующий в великое и светлое начало.

И вдруг «оно» набежало неизбежное и страшное, как чудовище...

Злые силы соединились вместе, чтобы участвовать в этом вопиющем деле...

Отнять корку хлеба у голодного, лекарство у больного, материнскую грудь ото рта младенца... отнять дыхание и жизнь и дать смерть...

Смерть... смерть... смерть! Какой ужас! какое безумие! Как он боялся я проклинал ее. И все-таки подчинился...

За что? Ты, Боже, Великий и Милосердный, Ты спасаешь и призреваешь, Ты даешь жизнь... За что-же Ты не пролил Твоей благодати на чающих ее? За что?

Но я не ропщу... Нет, нет!

Я не ропщу, потому что завтра же уйду к нему.

Нас придавит один кусок земли, одна плита белого мрамора. Наши души будут вместе... где? – я не знаю. Может быть, в стране более прекрасной, чем эта Италия, с более нежными колоритами, с более ласковыми улыбками неба и моря и чудным ароматом лимонных и розовых цветов... Там будет жизнь... и счастье...

И я иду, иду к тебе, милый!..

Он лежит без движения на своих высоко поднятых атласных подушках.

Нужды нет.

Я целую его глаза, от которых веет холодом смерти, его сжатый мертвый рот с еле уловимым исходящим из него запахом разложения, которого не могут заглушить ароматные розы, принесенный Розориттой. Я целую его жадно и долго, как живого, и наслаждаюсь этими последними поцелуями. Пусть они безответны... Он отдыхает, милый, я стерегу его покой, пока не усну также.

А усну я скоро... скоро...

Еще последние гондолы не выплывут на чуть брызжущую светом поверхность холодных каналов, еще первые голуби не украсят белыми хлопьями своих крыльев крышу собора св. Марка, а я уже буду с тобою...

Нас засыпят цветами и зарюют рядом со слезами сожаления, потому что мы молоды и прекрасны и имели бы право на жизнь...

III

– Синьора, вас спрашивают. Опять Розоритта.

Она вколола красную розу в свои черные косы, – розу, взятую с гроба на память о моем возлюбленном, и этот подарок смерти красиво дисгармонирует с ее лицом, воплощающим жизнь...

Она делает печальное лицо, но глаза ее, помимо их воли, сыпят снопы лучей, отблески тех, что щедро дарит солнце ее родины, и губы, сжатые теперь в полуулыбку соболезнования, вот-вот раскроются, заблещут и засмеются.

Я люблю смотреть на Розоритту, потому что «он» находил ее прекрасной.

«Он», смеясь, путал наши кудри, ее – черные, как ночь ее родины, мои – золотые и нежные, цвета спелого колоса, далекой и милой России. И любовался нами, как художник...

Он не видел в те минуты ни обожаемой жены, ни этой итальяночки с задатками чувственности и лжи, но видел в нас идею новой картины, которой поклонялся.

– Синьора, вы дремлете? – будит меня от грез голос Розоритты.

Я молчу и гляжу в ее зрачки, полные ужаса.

– Синьора, вы нездоровы.

Не думает ли она, что я помешалась с горя.

Вчера я рыдала и билась в конвульсиях...

Но она не знает, не знает моего решения.

Я жду... жду... чтобы соединиться. Не все ли равно где?

Здесь или там... Лишь бы с ним, дорогим, милым.

– Вас спрашивают, синьора.

– Кто?

– Дама. Вероятно, натурщица, не получившая платы...

– Зови ее сюда, Розоритта. Я заплачу ей.

– Войдите, синьора.

– Благодарю вас.

Боже мой, что за мелодия голоса!

А лицо... лицо!..

Я не видела еще подобных...

И небо, и синие воды Адриатики соединились вместе, чтобы создать эти два глаза, прозрачные и светлые, под каемками длинных ресниц.

У ветхозаветных женщин должны быть такие глаза, миндалевидные, гордые и печальные, без зноя страсти и робкой мечтательности.

Лицо классически правильное, лицо итальянки, настоящее создание художественной природы, умевшей рождать такие чудные песни, такие яркие лица!

На изжелта-белой коже неровный румянец. Губы дрожат от волнения.

– Синьора, – звучит ее голос, – синьора, не гоните меня... я слишком страдаю... Дайте мне быть подле вас... Простите... но я не могла... не могла больше... эта неизвестность...

И она рыдает глухо, мучительно.

– Что с вами, успокойтесь, синьора.

– Ваш муж... – шепчет она сквозь накипающие новые и новые рыдания... – он плох... безнадежен?...

Я отступаю в изумлении и ужасе. Передо мною безумная. Отступаю и открываю гроб с дорогими останками, которые заслоняла собою.

Страшный, душу потрясающий, крик оглашает комнату.

Незнакомка в один прыжок очутилась у гроба... и испускает такие, протяжные и жалобные звуки...

Я слышу странную фразу...

– *Vitalio mio, amico mio!*

И она ласкает нервными движениями лицо и волосы покойного, целует его глаза, губы, как я только что перед этим целовала.

Что со мною? Я грежу или нет?

Нет. Это действительность.

Те же потоки солнца и света... те же розы и мирты, усыпавшие тело... То же неподвижно величавое спокойствие мертвеца.

А женщина все рыдает и шепчет, теперь уже яснее:

– *Amico mio, Vitalio mio!..*

Она безумная... В этом нет сомнения.

Я приближаюсь к ней и ласковым насилием хочу отвести от гроба.

Но ее пальцы впились в белый глазет... Глаза, из которых глядит на меня ужас и отчаяние, не отрываясь смотрят на меня.

– Синьора, – слышатся мне глухие, страшные звуки, – синьора, вы должны меня здесь оставить... здесь... около, пока его не заруют... Я... я... его любовница!

И море, и небо, и розы все свернулось в одну пеструю пену... Она растет и клокочет и захлестывает меня, окружая и заполняя собой все со всех сторон... Она леденить и жжет и поднимается все выше и выше, вровень с лицом, с глазами.

Какая ночь... какая темнота...

И я теряю сознание.

IV

Ночь... все еще ночь... хотя голубоватый эфир льется в комнату широкой, ароматной волной.

Вчера его хоронили...

Я слышала, как во сне, дребезжащей, старческий голос единственного русского священника, отысканного Розориттой.

Я не могла проводить его на крошечное русское кладбище...

Не от бессилья, нет.

Он стал мне чужой и далекий и вся моя жизнь с ним полна лжи и обмана, бесчеловечного обмана, который я не в силах простить!

Я не страдаю больше, мне только темно, потому что на душе, у меня беспросветная ночь... ночь в сердце и ночь в мыслях.

Его унесли тихо... тихо, чтобы не беспокоить меня.

Но тем не менее я слышала и шепот молитв и другой шепот, твердящий поминутно свое ужасное:

– *Vitalio mio, amico mio!* Как она его любила... Боже Милосердный... А он? И он тоже! Конечно...

Она так прекрасна.

Ты лгал мне, безжалостно лгал, когда взял мое бедное

сердце там далеко, на берегу обрыва.

Ты лгал, когда целовал мои кудри, мое «золотое руно», как называл их в шутку...

Ты лгал, когда говорил, что любишь меня больше всего в мире.

Всюду ложь...

Ложь, ложь, ложь!

И грезы славы, и грезы счастья, и приливы чувства – все ложь, жестокая и беспощадная.

Ты любил ее, лаская меня, ты целовал ее образ, прекрасный и гордый, в то время, когда мои губы сливались с твоими.

Из писем, присланных мне Джулией, я узнала всю эту низкую повесть лжи и порока.

Они любовники с юных дней, когда я еще не знала Виталия. Она была уже женою другого... Он не смел открыто обладать ею и вот, чтобы заполнить свою жизнь и рассеять горе, он взял меня.

Взял, чтобы погубить навсегда.

Так вот почему его тянуло в Италию!

Там была она – его Джулия.

Джулия, Юлия... Как сладко и мелодично должно было звучать в его устах это имя!

Отчего я не Юлия?

Лиза – ничтожное мещанское имечко, не давшее ему ни малейшей иллюзии обмана.

Джулия и Лиза!.. Алмаз и булыжник...

Но что значить имя, когда она сама так прекрасна!

Ложь... ложь... я проклиная твое происхождение, как самое происхождение греха.

И как мог ты притворяться, лаская меня?

Я видела огонь, жаркий и неподдельный, твоих глаз, когда теплая итальянская ночь глубокой непроницаемой тайной окутывала окрестности и мы рука об руку бродили по набережным каналов.

Огонь разгорался все ярче и ярче, когда приближался час наслаждения... час объятий и ласк, бесконечных и светлых, смешанных с поцелуями и смехом, счастливым смехом, граничащим со слезами.

О, эти ночи ароматные, южные, похожие на дивную сказку без конца и начала!..

* * *

Мы возвращались в Россию, чтобы снова спешить в Италию.

Теперь я понимаю зачем.

Тебя там ждали... Ждали поцелуи и ласки – более горячие, нежели мои.

И ты уходил к ней, не остывший еще от моих ласк, унося аромат моих духов и волос, смешивая его с другим ароматом, более соблазнительным по своей порочности.

О, как искусно скрывал ты от меня свою потрясающую, беспросветную тайну!

Но я не упрекаю тебя! Вы и так наказаны судьбою... Она прекратила это безобразное торжество сатаны и его ангелов!

Я не упрекаю, потому что не люблю.

Любить и не верить нельзя.

Только во мне ночь... все ночь... в душе, и мыслях, и в самом сердце моем ночь...

V

Еще день... еще утро...

То же умиленное небо... те же лучи, сияющие и не греющие меня.

Я встала, сегодня... «Они» думали, что я больна...

Нет, у меня ничего не болит. Я только оцепенела.

Только что-то холодное, ужасное налегло и давит сердце.

Вошла Розоритта. В ее глазах ужас.

– Что такое? Дай зеркало.

– Синьора, ах, синьора... И по лицу ее бегут слезы. Да что же, наконец, со мною?

А... я седая... вся седая и белая, как снег моей родины.

Ни одной золотой нити... Все бело, бело.

– Как вы его любили, добрая синьора, – шепчет Розоритта, вытирая слезы.

Любила... да.

А сердце давит все большее и большее.

Розы, поставленный на окошко, благоухают слишком прямо и ядовито.

Они отравляют мысль.

Но что же? Тем лучше! Они мешают сознанию и думам.

– К вам письмо, синьора! – и нерешительным движением Розоритта протягивает мне белый конвертик.

Письмо от Джулии. Всего одна строчка: «Во имя Бога и

Мадонны, примите меня!»

– Там ждут ответа?

– Да, синьора.

– Скажи, что жду сегодня.

Она уходит... С нею уходит день... Ночь в моей душе еще темнее и глубже.

Ждать ту, которая отняла от меня все любимое мною...
Ждать, видеть и не проклинать...

Но зачем же, зачем она отдала его мне... зачем отпустила от себя...

Мы были бы обе счастливы, не зная друг друга...

Нет, не надо упреков.

Смерть все примиряет.

Но увидеть ее! Ту, которая воровала у меня его ласки, целовала его лицо... лицо, так безумно желанное мною, видеть и сознавать, что там у нее больше права – за давностью, за мукой, за красотой...

Ужасно, ужасно!

И зачем она сказала?

Нет, не она, а ее отчаяние...

Останься жив Виталий, – их любовная поэма длилась бы... длилась бы и ложь...

О, если бы не знать!

Я бы умерла, счастливая сознанием его любви, даже призрачной, его верности... умерла с божественной музыкой в ушах, музыкой его признаний, без сожаления и муки, пре-

следуя одну цель – соединение.

Счастливое неведение отвернулось от меня.

Надо жить! Вот в чем ужас... Надо жить, как живут люди, и Джулия и Розоритта и тысяча других.

Теперь я не лягу рядом.

Белый мрамор плиты не придавить меня...

Но разве он не легче той тяжести, сдавившей мою грудь и мое сердце?

Когда же кончится эта ночь... это оцепенение!

* * *

– Синьора... вы простили?... Что это? Она или призрак? Какой ужас! Что делает горе... Где ее прежняя божественная красота, красота итальянской природы, сотканная из лучей и света, песни и музыки, та удивительная гармония линий и черт, воспетая когда-то Петрарки, вдохновившего Рафаэля и тысячу других?

Великий Боже, что с нею?

Бледная, изнуренная, исхудавшая, с глазами, вдавленными в орбиты, с губами синими, как у мертвеца, она еле держится на ногах.

– Синьора, простите!

Она не плачет. Глаза сухи и горят нестерпимо. Мне страшно их блеска, граничащего с безумием, потому что я видела уже такие глаза однажды – глаза мужа в последние его ми-

нуты.

За этими глазами – смерть.

Несчастливая, как она любила!

– Синьора Джулиа, – говорю я, и мой голос дрожит, как туго натянутая струна мандолины, – синьора Джулиа, зачем вам мое прощение? Оно ненужно было вам, пока вы замирали в объятиях моего мужа. Зачем же оно явилось теперь, это запоздалое раскаяние?

Мы никогда не встретимся больше... И вы не увидите больше женщины, загубленной вами. Завтра я еду в Россию... Будьте покойны, если можете, и забудьте меня!

– Но прощение, прощение, синьора!

– Оно от Господа!

Она вся как-то сжалась от моих слов и вдруг застонала от страшной муки, рвавшей ей сердце.

– Синьора! не откажите! – слышался чей-то жалобный и тоненький голосок.

Я подняла глаза и чуть не вскрикнула от неожиданности. Передо мной стоял он, мой желанный, живой и прекрасный в образе мальчика, почти ребенка... Его портрет, его воплощение, его образ.

Чернокудрый и бледный с говорящими южными глазками, с ручонками, простертыми с мольбою, весь ровный и стройный, дышащий благородною гордостью маленького венецианца.

Эта осанка да южная кровь, бьющаяся в венах, говорили

о нации, но все-таки это был маленький Виталий с его высоким лбом и красивыми чертами. Я смотрела на ребенка широко раскрытыми глазами и чувствовала, как горячая волна прилиwała мне в душу и топила и плавила страшную глыбу, наполнявшую ее.

Я подняла руку... потянулась к ребенку.

Он вскинул на мать глазами и, поймав ее быстрый, почти неуловимый жест, необъяснимо нежным движением прижался ко мне.

Что-то раскололось внутри... и распалось, и вылилось наружу. Я рыдала неудержимыми рыданиями, сжимая мальчика в тесных объятиях, покрывая его лицо, волосы и руки бесчисленными поцелуями.

И в тоже время мои губы шептали хрипло и бессвязно, шептали одну и ту же фразу десятки раз подряд:

– Amico mio, Vitalio mio!

И солнце и небо – венецианское, умиленное, и пышные розы, и зеленые мирты, и вся природа, сказочно прекрасная и царственно милостивая, влиwała мне бальзам прощения и любви в мою умиротворенную душу...

А губы все шептали чуть слышно, в каком-то забвении сладкого счастья:

– Amico mio, Vitalio mio...

И я простила...